



В.В. Есипов
Вологда

Л.В. Егорова

Вологодский государственный университет

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ: О БИОГРАФИИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ¹

В беседе с В.В. Есиповым речь идет о жизненном и творческом пути исследователя – автора многочисленных статей, книг, включая «Варлам Шаламов и его современники», «Шаламов» в ЖЗЛ, составителя только что вышедшего шаламовского двухтомника «Стихотворения и поэмы». Это академическое издание максимально полно на данный момент представляет Шаламова-поэта.

В. Есипов, В. Шаламов, «Стихотворения и поэмы» Шаламова.

Л. Е. Валерий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы родились 24 января 1950 года в городе Поронайске. Как Ваши родители оказались в Сахалинской области? Или еще деды-бабушки? В школе учились там?

В. Е. Мой отец был офицером-пограничником. Сначала он (всю войну) служил в Забайкалье, на японской (маньчжурской) границе, а в 1947–1952 гг. – на Сахалине, где меня «родили». На современном Сахалине кто-то собирался зачислить мою персону в земляки, но какой я земляк, если меня увезли оттуда младенцем полутора лет и ничего из жизни этого острова, где «нормальная погода» («низко облака»), я не помню? Единственный штрих: по рассказам мамы, остававшиеся тогда на Сахалине японцы относились к нашим очень недружелюбно (она навсегда запомнила злобный взгляд японской старухи, которая прислуживала у нас в доме), однажды был пожар, где мы – у меня было еще два брата, чуть старше – едва не сгорели... На побережье постоянно происходили какие-то происшествия, и у отца было много работы. Не знаю, описал ли кто этот сложный сахалинский период. Недавно прочел кое-что у весьма почитаемого мной Вл. Богомолова («В кригере»), служившего после войны на Дальнем Востоке, – атмосфера им хорошо передана. Конечно, к Сахалину как к месту своего рождения испытываю особые чувства, но никогда, к сожалению, там больше не был. А особые чувства питаются и подпитываются в основном Чеховым – его знаменитой книгой и всеми обстоятельствами и мотивами его поездки на сахалинскую каторгу. Главное – мотивами, которые еще не до конца разгаданы, а современному поколению подчас вовсе непонятны (как бульварному критику чеховских времен В. Буренину, который написал дешевую эпиграмму: «Талантливый писатель Чехов, / На остров Сахалин уехав, / Бродя меж скал, / Там вдохновения искал...»). Вообще, Чехов – мой любимый писатель, а «Остров Сахалин» у

меня есть в самых разных изданиях, включая комментированные двухтомники.



Сахалин. 1950 г. Слева направо:
отец Есипов Василий Владимирович,
братья Юрий и Владимир,
мама Есипова Евдокия Васильевна
(урожденная Кандабаева) с сыном Валерием.
Женщина вверху – неустановленное лицо (возможно, няня)²

В 1952 г. отца перевели на совсем другую границу – финскую, под Выборг, там он демобилизовался в 1954 г., и мы все поехали на родину мамы, в Забайкалье, в Петровский Завод. (Она в 1942 г. закончила читинское педучилище, и ее послали, 18-летней, учить детей пограничников в Нерчинск, на реку Аргунь, где она познакомилась с отцом.)

В Петровском Заводе я и вырос. Это место для меня гораздо более значимо, чем Сахалин, потому что здесь я начал что-то сознавать, и первое, что осознал как некую свою причастность к Большой истории, – то, что Петровский Завод был местом ссылки декабристов.

Теперь, задним числом, на склоне лет, выстраивается какая-то символика в связи с тем, что я, занимающийся всю жизнь историей русской (и советской)

¹ Название статьи предложено Еленой Титовой – рецензентом этой публикации: «Это ведь не только о своей внутренней биографии, но и о том, что было внутренней биографией литературы, скрытыми культурными реалиями; о внутренней биографии Шаламова-поэта, о том, как внешнее не совпадало с самоощущением – по нескольким линиям».

² Все фотографии из личного архива В.В. Есипова.

каторги и ссылки, биографически и географически соединен и с Сахалином, и с Петровским Законом, и с Вологодой... А бывал и на Крайнем Севере, и в Магадане, и в Тобольске, и прочих знаковых в этом смысле местах. Наверное, кроме символики тут есть и своя логика, и даже закономерность. Например, моя первая книга – о И.Г. Прыжове, авторе «Истории кабаков в России» и соучастнике так называемого «нечаевского дела» [6] – самым непосредственным образом связана с Петровским Законом. В детстве я, конечно, не слышал фамилии Прыжова, и только в пору студенчества (кстати, в курсе фольклористики, а не истории) узнал об этом незадачливом герое, который, как оказалось, был сослан много позже декабристов, в 1870-е годы, в тот же Петровский Завод и умер там. Вот с этого момента, пришедшегося на 1970-е годы, т.е. столетие спустя, когда я жил уже в Вологодской области, и началась вся моя исследовательская, научно-архивная деятельность. Очевидно, что личная «привязка» к этой теме имеет прежде всего географическое объяснение: ведь не живи я в свое время в тех местах, я бы, наверное, не стал заниматься Прыжовым. Точно так же и с Шаламовым: не живи я в Вологде, где родился Шаламов, я бы вряд ли посвятил себя изучению его биографии и творчества. Вот такая географическая детерминированность, вполне жесткая. Конечно, есть и другие причины, но о них нужен особый разговор.

Л. Е. Я заглянула в Википедию. В 1975 году Вы окончили факультет журналистики ЛГУ. К тому времени, как я понимаю, Вы уже зарекомендовали себя как журналист: с 1968 года работали в районных газетах Якутии, Тульской области, с 1969 – в районных и городских газетах Николайска, Череповца, Вологды. Вы тогда, в конце 1960-х, переехали на Вологодчину? И потом был Питер?

В. Е. Факты из статьи обо мне из Википедии мало о чем говорят. У человека ведь есть своя внутренняя биография, и она может сильно отличаться от внешней. Раз уж Вы вовлекаете меня в эти тонкие материи, придется кое-что рассказать подробнее, почти в жанре мемуаров (которые я вряд ли напишу, а тут есть повод сказать хотя бы кратко).

«Охота к перемене мест» в молодости, конечно, была: хотелось и повидать побольше, и испытать себя в разных условиях – одним словом, «познать жизнь», как это грезилось моей романтической натуре. Профессия журналиста всегда давала для этого наилучшие возможности – поэтому я ее и выбрал и нисколько не жалею. Но журналистикой, т.е. поденной газетной (а потом телевизионной) службой, жизнь моя никогда не ограничивалась, мысли витали где-то выше. Еще лет в пятнадцать я начал интересоваться литературоведением, почитывал «Вопросы литературы», а в собраниях сочинений классиков заимел привычку проглядывать примечания. Из журналов читал преимущественно «Юность», «Новый мир» и «Иностранку». Выпускное школьное сочинение на свободную тему написал о романе Апдайка «Кентавр» и получил за него диплом на республиканском конкурсе (школу я заканчивал в г. Улан-Удэ, столице Бурятии, в поселке авиационного завода, где работали родители). Начитанность была неплохая, но она тогда не имела никаких целей, кроме «общего развития», т.е.

культурного багажа, необходимого журналисту. Это ведь очень универсальная профессия – надо разбираться и в искусстве, и в животноводстве, и в гуманитарных науках (об этом я говорил студентам, когда в 2007–2008 гг. два семестра преподавал на факультете журналистики ВоГУ: мой спецкурс назывался «Журналист – человек культуры или Журналист – интеллигентная профессия»).

Жажда романтики и приключений занесла меня в 17 лет, сразу после школы, на Крайний Север. Я узнал, что в дальнем районе Якутии, еще севернее «плюса холода» Верхоянска, в поселке Депутатский (там был крупный прииск по добыче оловянной руды) открывается новая районная газета. Вот туда и хотелось попасть. Но газета открывалась с 1 января 1968 г., и надо было пока где-то работать. Вот я и работал – и разнорабочим, и грузчиком, и художником-оформителем. На память о тех временах у меня осталась, как ни удивительно, 6-й том академического издания Шекспира (с «Гамлетом», «Отелло» и «Королем Лиром»), под редакцией А. Смирнова и А. Аникста), купленный в маленьком книжном магазинчике в Верхоянске. Там были и другие тома, но мне было не до собирания библиотеки. В Верхоянске я работал грузчиком в декабре 1967 г., при 55-градусном морозе. По прибытии в Депутатский поселился в общежитии, представлявшем из себя слегка утепленную армейскую палатку с железной печкой-бочкой, которую надо было всю ночь топить. Прожил там пять месяцев, стараясь подольше задерживаться на работе, в редакции, где было гораздо теплее – еще и от общества своих старших коллег, с неизбежным на Севере обжигающим напитком. Посвящение в журналистику прошло по полной программе: я не раз бывал в командировках, в том числе на берегу Ледовитого океана, летал на вертолетах, спускался в шахты, общался со всем пестрым людом, приехавшим сюда за длинным рублем (среди них выделялся неистребимый слой тех, кого и доньше называют «бичами» – это не просто «бомж», а своего рода аристократ, «Бывший Интеллигентный Человек»).

Все это – много позже – тоже проложило свои тропинки к Шаламову, ведь я был совсем недалеко от Оймякона и Колымы, где он находился в лагере. И дополнительное моральное право писать о нем мне дает то, что я знаю, что такое минус 55 градусов по Цельсию.

При прощании с первой газетой мне выдали лестную характеристику в том духе, что «В. Е. может стать хорошим журналистом». Я очень горжусь этим, ибо характеристику писал легендарный Эдик (Эдуард Семенович) Волков, который и доньше, много лет спустя после его смерти, считается «лучшим пером Якутии». Он был ответственным секретарем нашей газеты и правил мои первые заметки. Я навсегда запомнил его совет: «Писать надо просто, но интересно...». Раньше Эдик работал в областной «молодежке», но за какие-то провинности (полагаю, за слабость к обжигающим напиткам) был отправлен в «районку». Это был настоящий рафинированный интеллигент (отнюдь не «бывший»). Выпускник факультета журналистики МГУ, Эдик попал на Север, как объяснял мне, «по семейным обстоятельствам» (были ка-

кие-то проблемы с женой – он оставил ее в Москве, вместе с сыном, которого назвал Федором, в честь знаменитого Федора Волкова). Театральное имя сына было связано с увлечением Эдика театром еще в пору учебы в МГУ – он состоял в труппе знаменитой студии Марка Розовского и рассказывал мне кое-какие истории об этой студии и самом Розовском.

Мир тесен, и когда мы в 2000-е годы встречались в Вологде с Марком Григорьевичем Розовским (он не раз приезжал на фестиваль «Голоса истории» со своим театром «У Никитских ворот»), я напомнил ему об Эдике Волкове. «Да, прекрасный был парень Энди, – сказал режиссер. – Он так и не вернулся в Москву, остался в Якутии...»

С подачи «Энди» Волкова я и собрался летом 1968 г. поступать в МГУ, на факультет журналистики. Но поступить не получилось – конкурс был огромный, и к тому же я не состоял в комсомоле... Чтобы не возвращаться в Сибирь, решил устроиться на работу недалеко от Москвы, в Тульской области, а на следующий год поступать уже в Ленинградский университет. Так оно и было, но и в Ленинграде на дневное отделение поступить не удалось, я подал документы на заочное, а сам поехал искать работу – по подсказке одного из друзей-абитуриентов, Саши Мигунова – в Вологду. Но в Вологде в газетах вакансий не оказалось, и Василий Тимофеевич Невзоров, зав. сектором печати обкома партии (очень умный человек, друг В. Тендрякова, он ведал кадрами всех газет, и меня послали к нему), сразу разглядев во мне романтика-идеалиста, сказал: «У нас есть район, куда только самолетом можно долететь. Там есть газета, где нужны корреспонденты...».

Так я в 1969 году оказался в Никольске, где задержался на целых шесть лет, учась заочно в университете. И тоже ни о чем не жалею. Но об этом периоде нужен также отдельный разговор, ибо там, в глухом захолустье, и сформировались мои взгляды и – как это ни странно – и мои научные интересы.



*В.В. Есипов в пешей газетной командировке.
Никольский район. 1970 г.*

Л. Е. Расскажите.

В. Е. Должен сразу сказать, что именно после Никольска я стал убежденным провинциалом, т.е. пришел к выводу, что жизнь вдали от столиц имеет свои

большие преимущества, в том числе и в плане интеллектуального развития. Разумеется, при соответствующих личных установках и усилиях. Образ барона Мюнхгаузена, вытаскивающего самого себя за волосы из болота, тут самый подходящий. При этом желательно, чтобы в «болоте» (извечный символ провинции) нашлись какие-то твердые опорные точки (или «кочки»). В этом смысле с Никольском мне сильно повезло: здесь эти опоры нашлись, здесь было очень интересно жить и работать не только благодаря известному «яшинскому» контексту, но и контексту более глубокому, связанному с традициями русской интеллигенции XIX века. Эти традиции всегда имели для меня (и имеют до сих пор) большое значение.

Главная культурная ценность Никольска, которую я для себя тогда открыл и которая стала моим спасением, незаменимым лекарством, отрадой и подспорьем в тогдашней непростой жизни, – районная библиотека имени Г.Н. Потанина. «Будем с почтением входить в этот храм мысли», – было написано (словами Герцена) при входе в нее. Я входил туда, наверное, сотню раз, и всегда с огромным почтением – прежде всего по отношению к ее основателю, ссыльному ученому и публицисту Г.Н. Потанину. Он был сибиряком (что по-особому грело мою душу) и человеком могучего характера и целеустремленности. В никольской ссылке Григорий Николаевич был в 1871–1874 гг., после шести лет заключения в Омской тюрьме и Свеаборгской крепости по липовому обвинению в «сибирском сепаратизме». Это громкое дело, по которому арестовали 70 человек, в том числе ближайшего сподвижника Потанина Н.М. Ядринцева, характерно тем, что оно стало не только результатом жандармской провокации, но следствием и большой истерической кампании по недопущению какого-либо «сепаратизма» в России, которую вел тогда всемогущий редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков. Фактически все осужденные пострадали из-за Каткова и его политической паранойи, ибо у «областников» и мыслей не было об «отложении Сибири от России». Дело было необычно и тем, что сибиряков впервые отправили в ссылку в европейскую часть страны (Н.М. Ядринцев отбывал ее в Шенкурске). И вот, оказавшись в уездном городишке Никольске с двухтысячным населением, Потанин не опускает рук, ведет активнейшую этнографическую и просветительскую работу, вовлекая в нее местных жителей, а в конце ссылки оставляет здесь часть своих книг, которые и положили начало библиотеке, – ее открыл позднее его последователь, учитель И.С. Кубасов.

Вся эта история лишней раз показывает огромную роль ссылки и ссыльных в развитии культуры и просвещения России. Не случайно столько ярких страниц посвятил этой теме Шаламов в «Четвертой Вологде». И у кого-то сегодня, в наше богатое завихрениями мысли время, может даже возникнуть идея о том, что в царские времена это был единственно возможный и единственно верный путь для продвижения цивилизации в огромной стране – побольше образованных людей ссылать в места отдаленные... В таком взгляде, наверное, была бы доля истины, если бы российские монархи и правительства действовали хотя бы чуть более рационально – объединяли бы одно-

ких ссыльных интеллигентов с их благородными патристическими порывами для создания университетов в крупных и средних провинциальных городах. Такую идею высказывали, между прочим, декабристы, которые хотели по прибытии в Сибирь в 1826 году создать университет в Иркутске. Правительство побоялось: университет в Иркутске был открыт только в 1918 году. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев предлагали создать университет в Томске еще в 1860-е годы. Фактически создан в 1888 г. с одним факультетом (медицинским). Не знаю, высказывалась ли – хотя бы в шутку – идея о создании университета в Вологде в блестящей компании вологодских ссыльных в 1901–1903 гг., когда здесь были Н.А. Бердяев, А.В. Луначарский, А.А. Богданов, П.Е. Щеголев, А.М. Ремизов и многие другие выдающиеся интеллектуалы. Конечно, это была бы утопия, но в других политических условиях (при свободе мысли) – почему нет? Недаром А.М. Ремизов называл Вологду тех лет «Северными Афинами». И мы все не можем понять, по каким причинам и на каком историческом этапе Россия оказалась страной «догоняющего развития». Но это так, к слову.

Короче говоря, мне посчастливилось встретиться в Никольске с уникальной библиотекой, где сохранился богатейший дореволюционный фонд. Когда я первый раз зашел в заветную (открывавшуюся далеко не всем) комнату и увидел полки с коричневыми, тисненными золотом корешками с буквой «ять» в названиях книг и журналов, то просто ахнул. Надо помнить, какое тогда было время: почти все дореволюционное даже в больших городах находилось за семью печатями, надо было иметь ученый ценз для заказов изданий и читать их только в зале, без права выноса, а тут я получил возможность (благодаря доверию заведующей В.И. Гомзиковой) брать нужные книги домой и читать их не спеша, смакуя и делая выписки. Что меня тогда больше всего интересовало? Конечно, в первую очередь, сладкие запретные плоды, так называемые «реакционные» авторы. Давно добирался до «Дневника писателя» Достоевского. В полном 30-томном собрании сочинений (на которое я оформил подписку как раз в Никольске) он вышел только к началу 1980-х годов, а там я читал его в первом посмертном издании 1883 года. О публицистике Достоевского я написал тогда курсовую работу и развил тему в дипломе, так что это было очень полезное чтение. «Легенда о Великом Инквизиторе» В. Розанова, «Византизм и славянство» К. Леонтьева – было любопытно. Ужасные пугающие имена Ницше и Шопенгауэра – пожалуйста, читай (оказалось, совсем не страшно). «Жемчуга» Гумилева в первом издании 1910 года – истинное чудо!

Короче говоря, в никольском захолустье я оказался «с веком наравне» и даже в каком-то смысле опередил его, потому что, когда вся эта литература начала издаваться в «перестройку», я ее уже знал. А «реакционеров» благополучно переварил, и они не оказали на меня никакого влияния (в отличие от массы людей в литературно-гуманитарном мире, которые вдруг «прозрели», открыли последнюю истину в консервативных идеалах К. Леонтьева и даже М. Каткова: это, на мой взгляд, свидетельство регресса общественной мысли, вызванного резкой – неоправданно

резкой, слишком радикальной, нигилистической – переоценкой ценностей нашей истории, начавшейся в стране в конце 1980-х годов).

Симптомы стремления к такой переоценке ощущались уже тогда. Я ведь внимательно следил за журналами тех лет, особенно за «Новым миром» Твардовского, был его горячим поклонником, и знаменитый № 12 за 1962 год с «Вологодской свадьбой» Александра Яшина так же спокойно читал в библиотеке, как и старые книги с «ять». У меня в этом плане также было преимущество, ведь я находился в «гуще жизни» – почти той самой, которую описал Яшин, но все-таки менявшейся. Электричество и радио к тому времени (1969) провели почти во все деревни, и даже первую телевизорку вскоре поставили. Но все автодороги оставались грунтовыми, в виде «жидкого асфальта»-грязи, и в этом смысле Яшин был актуален еще много лет. Кстати, до сих пор не все понимают, почему был поднят такой шум из-за «Вологодской свадьбы»: все дело ведь в том, что в октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев объявил, что в СССР к 1980 году будет построен коммунизм, а Яшин (и стоявший за ним Твардовский) позволили себе высказать сомнение в этом, показав без каких-либо прикрас жизнь северной деревни, которой до «коммунизма» было как до небес. Яшина обвинили в «очернении» советской действительности, хотя все здравые люди понимали, что он просто написал горькую правду и никаких намеков (например, о «несостоятельности» колхозного строя и советской власти в целом) не делал – в этом смысле он был очень далек от постепенно набиравших силу «диссидентов». Поэтому критика его после снятия Хрущева практически прекратилась. Самым жгучим вопросом сельской жизни тогда был вопрос о сенокосах, в котором сошлись все противоречия «между личным и общественным» («А сенокосы по речке Козловка снова / Снег заметает. / Опять – ни скоту, ни Богу» – стихотворение Яшина «Желтые листья», 1963; Иван Африканович у Василия Белова косит сено для себя в лесу тайком ночью – «Привычное дело», 1966). Позже эти проблемы были урегулированы, но крестьянская обида на государство – еще со времен коллективизации – осталась. Все это я наблюдал в Никольском районе, как говорится, живьем, «под говор пьяных мужичков».

Л. Е. И о чем была упомянутая первая научная работа?

В. Е. Как раз об этом неакадемическом предмете. Курсовая по истории журналистики на 3 курсе называлась «Проблема народного пьянства в публицистике Ф.М. Достоевского». В «Дневнике писателя» Достоевского 1870-х годов немало страниц посвящено этой жгучей (тогда, да и всегда на Руси) проблеме. Вот только одна цитата: «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабаке снесли; а в кабаке приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?» [3, с. 94]³. Эту

³ В газете «Гражданин», где сотрудничал Достоевский, была опубликована заметка о том, что в июне 1872 г. в Костроме «от памятника Сусанину отломили бронзовую руку, которую нашли в кабаке» (Примечание – [3, с. 440]).

тему, на основе социологических выкладок и свидетельств других писателей XIX века, я и анализировал. Тут очень помог и Прыжов с его «Историей кабаков». Потом я написал дипломную работу «Проблема народного пьянства в русской публицистике 1860–1880 гг.». Защитил ее на «хорошо». После защиты мы с моим научным руководителем профессором Н.П. Емельяновым зашли в рюмочную на 1-й линии Васильевского острова и выпили по сто граммов. Он хотел опубликовать работу в каком-то сборнике, но не удалось: материал был слишком сопрягающийся с современностью. Понятно, что Достоевский подходил к проблеме пьянства на Руси скорее как моралист. В целом такой морализм (даже гиперморализм) очень свойствен нашей отечественной литературе: она не учитывает сложности, многогранности многих проблем. Недаром Шаламов писал: «Несчастье русской литературы в том, что она лезет в чужие дела, направляет чужие судьбы, высказывается по вопросам, в которых она ничего не понимает»⁴ [12, с. 323]. Это касается и алкогольного вопроса – его связи не только с социально-экономическими факторами, но и с нашим климатом, с тяжелым трудом, с обычаями – в конце концов, с ментальностью. Позже из занятий этой темой я кое-что извлек и в начале 1990-х опубликовал две статьи в «Независимой газете» – как раз о вреде морализма, который (если им заражаются, кроме писателей, еще и государственные деятели) может привести к крайне тяжелым последствиям: введение «сухого закона» в России в 1914 г. стало одним из катализаторов социальной напряженности и развала финансовой системы к 1917 году; примерно то же самое произошло в СССР после принятия постановлений 1985 г. «О борьбе с пьянством». Об этом почему-то стесняются говорить, как и о том, что идеологическую базу под эти постановления подготовили воинственные трезвенники-писатели и публицисты журнала «Наш современник». Но это, опять же, к слову.

Л. Е. Вернемся к поэтическому в Никольске?

В. Е. Поэтического в Никольске было тоже очень много. Вокруг каждой районной газеты всегда группировалось местное литературное сообщество. В нашей редакции работал друг А. Яшина, охотник-медвежатник и автор рассказов о природе Вадим Каплин. Я дружил с учителем-краеведом Алексеем Павловым, который много занимался историей обсуждения (и осуждения) «Вологодской свадьбы» земляками. Там познакомился я и с первым настоящим поэтом, встреченным на жизненном пути, – Сергеем Чухиным. Он тогда учился в Литинституте и приезжал к своей невесте Тоне, которая по распределению работала учительницей в никольской деревне Сверчково. Я был у них на свадьбе, которая игралась там же. Мы с Сережей очень подружились и часто встречались потом в Вологде. Стихи его чудесные можно цитировать бесконечно. Например, эти, тоже на сенокосную тему, но не с социальной, а с поэтической стороны: «Колокольчики, ромашки, дикий клевер луговой – / Все скосили, просушили и поставили в сто-

га. / У кузнечика хромого с треугольной ногой / Не шумит над головою разноцветная тайга...».

Сережа погиб в 1985-м, когда ему было всего сорок лет. И одно из главных, обязательных и неотложных дел в его память я сделал, когда пришел работать на областное телевидение, – снял фильм о нем. Ездили с оператором Олегом Юшковым в Погорелово к его маме, проплакавшей все глаза о сыне, на его любимую речку Ёму, где он рыбачил, записали воспоминания его друзей и поклонников (в том числе поэтессы Натальи Сидоровой и певца-самородка с удивительным тенором Владимира Громова). Получилось, мне кажется, очень лирично, достойно Сережи. Копию фильма передал потом в Погореловскую школу, надеюсь, что она сохранилась (на телевидении, как оказалось, уцелело далеко не все).

Никольск одно время был и своего рода «поэтической столицей России», потому что сюда, на дни памяти А. Яшина, стали приезжать известные поэты, начиная с Евгения Евтушенко. На Бобришном угоре, где похоронен Яшин, проводились большие поэтические праздники, весьма помпезные, надо сказать. Так старалось никольское начальство, что у могилы Яшина стали чуть не хороводы водить. Бедные, несчастные колхозы райком КПСС обкладывал «данью» для финансирования этих праздников. А писатели и поэты советского времени всегда любили погостевать. В 1975 году – это было мое последнее лето в Никольске – приехала целая бригада из Москвы, в которой рядом были Евтушенко и Станислав Куняев (удивительное дело, если вспомнить, что потом, в «перестройку», Куняев в Москве публично сжигал чучело Евтушенко как своего врага-«антипатриота»). Мне общение с московскими и вологодскими гостями было любопытно, потому что они представляли своего рода срез, «выездную модель» тогдашней литературной среды со всеми ее умонастроениями и нравами. «Литература на обеде», как выражался в XIX веке Салтыков-Щедрин. Впечатление было, в общем, печальное: фронда, намеки на «правоту» только что изгнанного из страны Солженицына (о Шаламове никто даже не вспоминал), ругание власти – и гуляние за ее же счет. С той поры у меня весьма прохладное отношение к литературной среде, ко всем этим группировкам «своих» и «чужих», к их постоянной пикировке. (Евтушенко – отдельная тема, я с ним позже встречался несколько раз во время его приездов в Вологду, в том числе в последний приезд в декабре 2014 г., и когда-нибудь все свои впечатления о его личности и творчестве суммирую.)

Мне всегда казалось, что сам Яшин смотрел (с памятника на Бобришном угоре) на все эти литературные увеселения с большим осуждением. Ведь он жил и страдал ради того, чтобы северная деревня начала, наконец, жить по-человечески, в том числе его родная деревня Блудново. Но получилось совсем иначе. Есть известная фотография с похорон Яшина в июле 1968 г.: блудновские мужики-земляки несут гроб с его телом, и процессия движется через огромное поле колосающейся ржи. Но уже в начале 1990-х годов все это поле (знак жизни, знак надежд) стало зарастать колючим сорняком – осотом, а затем – мелким березняком. Я в те годы не раз приезжал в никольские края как те-

⁴ Слова автобиографического героя в рассказе Шаламова «Галина Павловна Зыбалова» (1971).

лежурналист, и эта печальная контрастная картина до сих пор стоит у меня перед глазами.

В итоге Никольск во многом переломил мои романтические представления и о жизни, и о литературе, привел к выводу, что надо думать обо всем самостоятельно и жить, по возможности, независимо, занимаясь, кроме газетной рутины, разными серьезными сюжетами в самой близкой мне области российской истории, а также истории литературы. Самым увлекательным оказался сюжет о И.Г. Прыжове, о его «Истории кабаков» и его участии в «нечаевском деле». Ведь на основе этого дела Достоевский написал свой знаменитый роман «Бесы». И я решил начать расследовать эту историю, как она была на самом деле, а не в романе. Сначала изучал всю литературу по этому предмету (ее оказалось много и в нашей областной библиотеке, в старых журналах «Былое», «Каторга и ссылка», которые я штудировал), а потом стал ездить в архивы, в РГАЛИ и ЦГАОР (Центральный архив Октябрьской революции, ныне ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации). Тогда же, живя уже в Вологде, познакомился с Петром Андреевичем Колесниковым. Он мне сильно помог. Конечно, это была не его тема – он всегда занимался историей северного крестьянства, но его методология, его научная дотошность и объективность мне очень импонировали. Не говорю уже о его личных качествах, о глубокой порядочности, пунктуальности, целеустремленности. Все это, полагаю, тоже от наследия старой русской интеллигенции. Ведь Петр Андреевич *self-made man*, «сам себя сделал»: он в 1920-е годы был простым «избачом» (от «изба-читальня»), потом сельским учителем, а в итоге стал профессором, уважаемым во всем академическом мире. Ему я и показывал первые складывавшиеся у меня наброски задуманной книги о Прыжове. Ему нравилось.

Л. Е. Вы тоже считаете себя *self-made*?

В. Е. Пожалуй.

Л. Е. Поясните.

В. Е. Для этого нужно ставить перед собой цели (пусть малые сначала) и добиваться их. В сутках 24 часа, они делятся на три части: 8 часов сон, 8 – работа и 8 – свободное время. Нельзя сказать, что последнюю часть я целиком отдавал своим «подпольным» занятиям (отнюдь!), но время все же находил. И половину отпуска тратил на поездки в архивы. А когда перешел на телевидение (в 1986 г.), то тут, благодаря более гибкому и свободному графику (студия в Череповце, а я в Вологде; сделал программу – занимайся, чем хочешь, до следующей), можно было что-то выкроить и из второй «восьмерки». Но на ТВ и работа была гораздо интереснее и в целом интенсивнее, чем в газетах. Больше двадцати лет я отдал «голубому экрану», и сожалений нет. Единственное сожаление и даже боль – повторю: многое из того, что я делал (фильмы, передачи) не сохранилось или лежит в не разобранном до сих пор архиве Вологодской гостелерадиокампании. Это выяснилось при подготовке к моему 70-летию юбилею, который я отмечал в январе нынешнего года. Хотелось вспомнить, показать свои лучшие фильмы, но их найти, увы, не удалось – пришлось пользоваться лишь своим личным видеоархивом (очень небольшим) да теми материалами, что я

переписывал в свое время героям фильмов. К счастью, уцелело почти все, что я снимал о Шаламове, начиная с 1989 года. Эти материалы я оберегал сам и в свое время отдал их на оцифровку: теперь они, пусть и в не очень качественном черно-белом варианте, есть на сайте shalamov.ru.



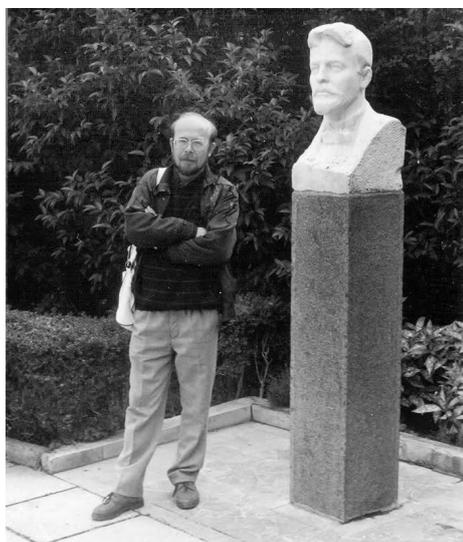
*Интервью с испанским славистом
и переводчиком Шаламова
Рикардо Сан Висенте (справа).*

Слева – оператор С.М. Сурин. Вологда. 1997 г.

*(Это фото – ради того, чтобы вспомнить 20 лет на ТВ.
В таком качестве я в основном и известен вологжанам)*

Л. Е. Почему Вы занялись Шаламовым?

В. Е. Во-первых и в главных, потому что было стыдно: такой бесстрашный, могучий и столько пострадавший писатель был отринут родной страной... Меня просто потрясла его судьба – и лагерная, и литературная. Такие же чувства испытывали тогда, в конце 1980-х годов, многие, впервые прочитавшие «Колымские рассказы». Я тоже не имел доступа к самиздату и не мог прочесть их раньше. А то, что Шаламов родился и вырос в Вологде, естественно, обязывало меня как журналиста к тому, чтобы о нем больше знали земляки. Первые материалы (и телевизионные, и газетные) были скорее литературно-краеведческими, но со временем я переключился и на исследовательские.



У дома-музея А.П. Чехова. Ялта. 1999 г.

Л. Е. Извините, я буду перебивать Ваш рассказ о Шаламове – давать ссылки. Нам бы хотелось, чтобы студенты читали «Вестник». Вы об этом писали, и не знакомым с темой, но заинтересованным лучше знать, что и где посмотреть. И в данном случае я бы рекомендовала рассказ об Ирине Павловне Сиротинской, начиная с первой с ней встречи в 1989 году. Вы пришли к ней в гостиницу после общего разговора в музее (Шаламовского дома как места памяти еще не было).

Была тогда такая гостиница «Северная», в бывшем шикарном «Золотом якор», где когда-то жил сосланный из Киева философ-аристократ Н. Бердяев. Номер у Ирины Павловны был совсем не бердяевский – какая-то убогая, узкая, как пенал, комнатка с тумбочкой, железной кроватью и тараканами, которые нахально ползали по плинтусам. Но мы на это внимания не обращали, и разговор, рассчитанный «на часок», длился почти три часа. Это было не журналистское интервью, а просто душевная беседа о Шаламове, о его личности, только что открывшейся широкому миру (в 1988 году «Наше наследие» опубликовало «Четвертую Володду», и из журналов потоком хлынули «Кольмские рассказы»). Я уходил домой поздним вечером совершенно ошарашенный – и массой неведомых мне фактов биографии писателя, и удивительной доверительностью, с какой рассказывала все это Ирина Павловна (как-то сразу почувствовав в собеседнике «русского мальчика», хотя уже немолодого, вечного идеалиста, искателя высших истин), и драгоценным подарком – только что вышедшей книгой рассказов Шаламова «Левый берег». Потом, даже при последней встрече в ноябре 2010 года в Москве, она всегда вспоминала эту нашу гостиничную беседу: «А помните, как все начиналось?...» [5].



В.В. Есипов с И.П. Сиротинской. Москва. 2008 г.

В. Е. По-настоящему я смог заниматься Шаламовым только после выхода на пенсию в 2010 году, когда не стало нужды ходить на какие-либо службы и появилась полная свобода в распоряжении своим временем. К этому моменту И.П. Сиротинская, тянувшая на себе весь шаламовский «воз», серьезно болела (фактически она не могла работать уже после 2007 г., успев подготовить и выпустить шеститомное собрание сочинений Варлама Тихоновича и провести международную научную конференцию, посвященную его 100-летию), и надо было продолжать ее дело.

Какого-либо четкого плана деятельности у меня не было, и я начал с самого необходимого – биографической книги в ЖЗЛ. Писалась она довольно трудно, потому что в биографии Шаламова очень много непроясненных фактов, и пришлось не раз ездить в Москву, в РГАЛИ, чтобы искать и сверять документы. Книга вышла в 2012 г. и получила немало хороших профессиональных оценок. Неожидан был отзыв петербургского литературоведа Игоря Сухих, с которым мы давно знакомы.

«В.В., поздравляю! – писал он по мейлу. – Это проза!» Я ответил: «Может быть. Но это, конечно, документальная проза, скорее очеркистика». Писателем я себя считать не могу, т.к. у меня на этот счет очень высокие критерии. Если иногда называют писателем, я обычно уточняю: «В жанре нонфикшн».

Л. Е. Захар Прилепин назвал тогда Вашу книгу «очень строгой, умной, честной, начисто лишенной пафоса» [8].

Ефим Гофман рецензию в «Знамени» начал с одобрения лаконизма: «В сравнении со многими массивными томами ЖЗЛ книга вологодского историка Валерия Есипова о Варламе Шаламове, недавно вышедшая в той же серии, достаточно невелика по объему: всего 346 страниц. Как ни странно, такой подчеркнуто-аскетичный формат лишний раз свидетельствует о такте и чуткости автора книги по отношению к объекту своих многолетних серьезных исследований. Дело не только в том, что витиеватое пустословие на фоне страшной шаламовской биографии выглядело бы особенно кощунственным...» [1].

Лев Данилкин в статье с характерным названием «Воскрешение Шаламова» писал: «Умный, сведущий, независимо мыслящий, скрупулезный человек – вологодский писатель и музейщик В.В. Есипов – нарисовал не икону Шаламова и не лубок о русском графе Монте-Кристо, а портрет – реалистический, честный, на фоне подлинной, написанной по документам, а не по диссидентским гиперболам, истории. Ровную, без тушевания досадных деталей, не хронику, а именно биографию...» [2].

В. Е. В 2019 г. вышло второе издание ЖЗЛ, где я исправил опечатки и кое-какие формулировки. Между прочим, в конце того же года произошел забавный случай: книгу перевело и выпустило небольшое издательство в США, но без согласования со мной и с копирайтом переводчика. Пришлось поиронизировать на тему о том, что «пиратское» издание – это высшее признание! После консультаций с юристом заводить тяжбу мы не стали, т.к. издатель извинился, сменил копирайт и убедил нас в своих чистых намерениях: он не преследовал коммерческих целей, а стремился только к тому, «чтобы биографию Шаламова лучше знали в Америке». Что ж, пусть знают...

Л. Е. Да, я обратила внимание на страничку «Плагат под видом перевода?» на сайте shalamov.ru: «Один из наших коллег из США прислал нам любопытное сообщение. Оказывается, в Америке недавно, в 2019 г., была издана и уже продается через Amazon биографическая книга о Варламе Шаламове, подготовленная неким Максимом Боткиным...» (<https://shalamov.ru/critique/425/>).

В. Е. В 2013 г. мы вместе с коллегами по сайту shalamov.ru (созданному в 2008 г., сейчас я являюсь его научным руководителем) подготовили 7-й, дополнительный том собрания сочинений Шаламова, куда вошли новые тексты, найденные в архиве, а также малоизвестные разрозненные публикации из периодики. К сожалению, на полноценный комментарий времени не хватило, но в дальнейшем мы решили готовить все издания только в соответствии с научными стандартами, т.е. с обязательным комментарием.

Л. Е. Мне запомнился Илья Смирнов, писавший тогда о трудностях архивной работы, трудностях расшифровки: «...она оказалась сродни тем расшифровкам, которыми занимаются египтологи или шумерологи: из-за тех недугов, которыми страдал писатель (болезнь Меньера и прочее), почерк его трудно, а местами невозможно разобрать...» [9].

В. Е. В 2013 г. в известном петербургском издательстве «Вита Нова» вышел том избранных «Колымских рассказов» с моими примечаниями (реальный комментарий) и послесловием [11]. В нем был впервые заострен вопрос о глубоком историзме прозы Шаламова, о том, что она, при всей своей жгучей эмоциональности, объективно отражает все перипетии колымской трагедии. Этот вопрос чрезвычайно важен, т.к. лагерная тема в литературе обросла огромным количеством домислов и преувеличений (например, в «Архипелаге ГУЛАГ» Александра Солженицына и в трудах западного советолога Роберта Конквеста), и в этот же разряд некоторые авторы пытаются зачислить и Шаламова.



Выступление на международной конференции русистов (с докладом «В. Шаламов и А. Солженицын: арбергардные бои за читателя»). Барселона. 2018 г.

Художественная гиперболизация, особенно в лирических рассказах, своеобразных стихотворениях в прозе, у него, конечно, присутствует, но, к сожалению, многие читатели не привыкли отличать поэтические тропы от протокола. При этом основной массив «Колымских рассказов» имеет сугубо реальную эмпирическую основу, вплоть до того, что у многих героев сохранены их подлинные фамилии. И не только у палачей (в соответствии с принципом Шаламова: «Всем убийцам в моих рассказах дана настоящая фамилия»), но и у жертв, простых заключенных. Чтобы убедиться в этом, пришлось немало покопаться в архивах, вспомнив навыки историка. Например, в РГВА

(Российский государственный военный архив), в фонде конвойных войск НКВД, удалось обнаружить списки заключенных того эшелона, которым следовал Шаламов летом 1937 г. во Владивосток. Здесь множество фамилий, упоминаемых в его рассказах, причем с именами и отчествами. И когда читаешь фамилии погибших, скажем, в рассказе «Надгробное слово», который потрясает своей реквиемной интонацией, еще одно потрясение (и восхищение писателем) происходит от того, что этот мартиролог – исключительно подлинный!

При работе с фондом НКВД посчастливилось сделать еще одно важное открытие: оказывается, Шаламов следовал на Колыму в одном эшелоне, но в другом вагоне, с выдающимся пушкинистом и декабристоведом Ю.Г. Оксманом, арестованным в Ленинграде в 1936 г. Оксмана высадили по болезни в Омске, потом дослали на Колыму, где он пробыл десять лет; с Шаламовым они так и не познакомились, но в сходстве их судеб очень много знаменательного для истории России в XX веке.

Некоторые труды Ю.Г. Оксмана я знал и раньше (он писал и о Прыжове), но многое прочел заново, особенно его обширную переписку и послеколымские труды, поработал и с его фондом в РГАЛИ и просто восторгаюсь феноменальной личностью этого полузабытого ныне ученого.

Л. Е. Давайте упомянем Вашу статью в журнале «Знамя» «Два гения в одном эшелоне (В.Т. Шаламов и Ю.Г. Оксман)» [4].

В. Е. Для меня Оксман – высший идеал в литературоведческой науке: он и текстолог, и блестящий знаток исторического «фона», и аналитик, и потому – непревзойденный комментатор произведений нашей классики. Далеко не все знают его прочтение одного «темного места» в письме В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю: «Помните строки о “человеческом достоинстве, столько веков потерянном в грязи и навозе” [из знаменитого “Письма Белинского к Гоголю”]? Меня всегда смущал этот плеоназм: “грязь и навоз”. Так вот, три новых списка, и притом старейших, позволяют установить, что речь шла о “грязи и *неволе*”. Конечно, в неразборчивой скорописи чтение “навозе” и “неволе” равнозначны, но ведь русский народ утратил чувство собственного достоинства именно в *неволе*, а не в навозе!..» (из письма к К.И. Чуковскому 15 апреля 1955) [7, с. 72].

Это написано, между прочим, в «глуши» Саратова, где Оксман работал в местном университете после Колымы...

Л. Е. Когда пришла мысль о составлении поэтического издания Шаламова?

В. Е. Осенью того же 2013 г., по пути на очередную международную шаламовскую конференцию, которая на этот раз проходила в Праге, я еще раз заехал в Москву, в РГАЛИ, чтобы сверить тексты стихов Шаламова, по которым готовил доклад для Праги. И тут, просматривая старые пожелтевшие тетради, пришлось убедиться, насколько все же велик и многообразен поэтический архив писателя, остававшийся тогда почти не исследованным. Вспомнился завет академика РАН Вяч.Вс. Иванова, который, выступая на шаламовской конференции в Москве в 2011 г.,

призывал обратиться к изучению стихов Варлама Тихоновича, которого он хорошо знал и написал о нем воспоминания. Вот тогда, сразу после Праги, я и поставил перед собой задачу – подготовить и издать все стихи Шаламова.

Напомню, что при жизни ему удалось выпустить лишь несколько тоненьких книжечек, урезанных цензурой. И.П. Сиротинская в 1994 г. впервые опубликовала «Колымские тетради» – шесть самостоятельно составленных Шаламовым сборников из стихов, написанных на Крайнем Севере и после него в ожидании реабилитации. Все это вместе составило один том (3-й) в собрании сочинений. Но Ирина Павловна, конечно, знала, что стихов гораздо больше и потому всегда говорила, что нужен двухтомник.

Так и было намечено, и первый год у меня ушел на поездки в РГАЛИ, на расшифровку и отбор стихов из массива рукописей северного периода, предшествовавших «Колымским тетрадям». Сам Шаламов позже считал большинство этих стихов неудачными, корявыми, не отделанными, как следует, потому что они создавались вскоре после лагеря, когда поэт, оставаясь еще заключенным, работал фельдшером лесучастка на ключе (речке) Дусканья, где другие заключенные заготавливали дрова для центральной лагерьной больницы. Там, в 1949–1950 гг., Шаламов впервые за много лет получил, как он выражался, «право на одиночество» и начал сочинять стихи. Он заполнил ими две самодельные тетради, сшитые из оберточной бумаги (другой не было), и в феврале 1952 г. отправил их своей жене в Москву, чтобы она передала тетради Борису Пастернаку. Эта история теперь хорошо известна, как известен и доброжелательный, но строгий разбор, сделанный Пастернаком, отчасти под влиянием которого Шаламов и забросил потом эти стихи [10; 13, с. 7–13]. Настоящим поэтом он почувствовал себя немного позже, когда освободился из лагеря (в октябре 1951 г.) и работал вольнонаемным фельдшером в Якутии, близ Оймякона. В якутский период он и написал целый сборник «Синяя тетрадь», который привез в Москву и лично вручил Пастернаку при первой встрече в ноябре 1953 г. На этот раз Пастернак принял все стихи безоговорочно, назвал Шаламова «сильным, самобытным поэтом» и сделал ему еще более лестный комплимент: «Пусть лежит рядом с томиком алконостовского Блока... Этих вещей на свете так мало» (из письма 24 октября 1954) [13, с. 57].

Самое интересное было то, что самодельные тетради Шаламова (те, что он первоначально посылал Пастернаку) сохранились – несмотря на то, сам Шаламов заявлял, что «стихов там еще не было», т.е. он не хотел их печатать, тем не менее берег их как «драгоценный документ». Вот здесь и возникла серьезная научная проблема, которая в итоге разрешилась, мне кажется, оптимальным образом: из всего массива стихов «периода Дусканья» (их 169) я максимально бережно, после долгих сомнений и раздумий, отобрал 115 – достаточно много для того, чтобы раскрыть содержание первого поэтического порыва Шаламова со всеми его превратностями и несовершенствами (как велит наука). Отсеяны только явно неказистые стихи с неточными рифмами, тривиальными поэтическими

ходами, с многословием и самоповторами – возможно, когда-нибудь и их можно будет опубликовать, но не сейчас, не в академическом издании. В итоге этот большой цикл вошел в раздел «Ранние стихотворения», помещенный в конце второго тома, ибо эти стихи действительно более ранние по отношению к «Колымским тетрадям», которыми открывается первый том и все издание. А вот о том, насколько они «слабее» или «сильнее» более поздних стихов, могут судить уже читатели, знатоки поэтического искусства, и это составляет интересный предмет для дискуссий. Для меня, например (думаю, и для многих читателей), очевидно, что Шаламов совершенно напрасно не включил в «Колымские тетради» несколько великолепнейших стихотворений, прежде всего потрясающий, необычайно философски глубокий «Silentium»:

*Кровь и обиды,
Все, что ты видел,
Если вернешься домой,
Помни немой.*

*В пьяном чаду,
В малярийном бреду,
Либо
На дыбе,
Где мышцы твои рвут палачи,
Молчи.*

*В счастливом сне
Любимой жене
В свете зари
Не говори.*

*Даже отцу
Мертвецу
На могиле
Ведь не расскажешь были.*

*Матери – помоги.
Матери – лги.*

*Дочери,
Сыну
Ночью
Синей,
О том, как ты жил,
Не расскажи.*

*И другу
Сжимая руку,
К тайнам своим открывая ключи,
Про это – молчи.*

*Но на последнем встав пороге,
Устав и от правды, и от лжи,
Богу,
И то немного,
Все-таки расскажи!*

Само название стихотворения говорит о переключке (и полемике!) с Ф.И. Тютчевым, хрестоматийный «Silentium» которого Шаламов как будто пере-

местил в страшную колымскую реальность и наполнил строки «Молчи, скрывайся и тай» совершенно иным, запредельно трагическим смыслом. В коротком примечании к этому стихотворению, кроме этой знаменательнейшей параллели, я смог сделать лишь небольшие библиографические и текстологические пояснения, но уверен, что со временем шаламовской вариации на тему Тютчева будут посвящены целые исследования, т.к. она занимает, бесспорно, исключительное место в русской лирике XX века. И вопрос, почему Шаламов так и не завершил работу над этим стихотворением (оно опубликовано⁵ по единственному сохранившемуся черновику с трудноразборчивыми правками, которые мы расшифровывали вместе с коллегой, историком-медиевистом С.Ю. Агишевым, имеющим опыт работы со средневековыми латинскими рукописями), почему он не вернулся к нему, скажем, в 1960-е годы, когда не раз обращался к своим самодельным тетрадам, – остается во многих отношениях загадочным. Свои версии я пока высказывать не буду – пусть о них подумают читатели и исследователи, но очевидно, что мы имеем здесь дело с большой и драматической творческой историей стихотворения, а отнюдь не с «забывчивостью» Шаламова (хотя такие случаи у него в старости бывали).

Некоторую часть стихов из самодельных тетрадей (в двухтомнике они обозначаются СТ) он все же включил в «Колымские тетради», в том числе ныне хорошо известное четверостишие:

*Все те же снега Аввакумова века,
Все та же охотничья злая тайга,
Где днем и с огнем не найдешь человека,
Не то, чтобы друга, а даже врага.*

Но парадокс заключается в том, что в рукописи СТ этого четверостишия нет, и, вероятно, оно потерялось, т.к. сшивка в СТ была нарушена. Однако Шаламов восстановил строки в последующих тетрадах, а позднее обозначил дату их создания – 1950 г., т.е. «период Дусканьи». Казалось бы, проблема исчерпана, но в научном издании все датировки должны быть строго выверены, и потому здесь очень пригодились воспоминания Вяч.Вс. Иванова, который с молодости входил в круг знакомых Пастернака, тоже читал тогда, в начале 1950-х, первые шаламовские стихи в СТ, ходившие по рукам в Переделкине, и навсегда запомнил строки об «Аввакумовом веке». Таким образом, свидетельство Иванова стало дополнительным подтверждением датировки, что я и отметил в примечании. Мне посчастливилось встретиться с Вячеславом Всеволодовичем в 2015 г., и я попросил его разгадать еще одну загадку рукописей СТ – идентифицировать многочисленные маргиналии, пометы (галочки) на полях тетрадей. По моему предположению, некоторые из них, сделанные красным карандашом, принадлежат Пастернаку, и я просил Иванова помочь разобраться в этом, передав ему цветные сканы рукописей. Но он тогда вскоре уехал за границу, а в 2017 г. умер, так что проблема пока остается неразрешенной.

Все это – к вопросу о сложностях текстологической работы, ведь она, включая воссоздание истории текстов и датировок, требовалась практически для каждого стихотворения, а их в двухтомнике набралось больше 1200.

Л. Е. 1280, не считая других редакций и вариантов.

В. Е. Расскажу еще об одном важном открытии, связанном с пониманием истоков своеобразной поэтики Шаламова. Долгое время существовал миф о том, что его стихи «слишком пастернаковские». На самом деле, как признавался Шаламов, определенное стилевое влияние Пастернака он испытывал только в молодости (его ранние стихи 1920–1930-х годов не сохранились, были сожжены родственниками после его ареста). А его поэтическим идеалом был в большей степени Иннокентий Анненский. Об этом ярче всего говорит стихотворение, написанное в 1953 г. в Якутии и найденное мной в одной из тетрадей этого периода (причем, на полях тетради, в уголке, записанное карандашом и едва распознаваемое, но с четким посвящением «Анненскому»):

*Прошептатъ бы, проплакать слова,
Их мечта хоть слепа, но жива.*

*От повадок незрячей мечты
Не спасемся ни я, ни ты.*

*В наш сырой, в наш метельный май
Порыжелый мундир одевай,*

*Свой учительский старый мундир,
Мой покойник и мой командир.*

*Пусть меня обвинят в воровстве,
Кто не знает, что мы – в родстве,*

*Этих «в», этих «з», этих «эм»
И других незначительных тем.*

*Красоту вывожу на парад
И не жду никаких наград.*

*Я хочу мертвецу доказать,
Что его не померкли глаза.*

*Голубые эти следы
Завели меня в вечные льды.*

*От его улыбки живой
Каждый вечер я сам не свой.*

*И горит тот огонь голубой,
Увлекая меня за собой.*

Представляете: Шаламов находится на краю света, на «полюсе холода», он только недавно освобожден из лагеря, и он вспоминает самого утонченного лирика начала XX века, с нежностью говоря о его «улыбке» и называя его «мой командир»! Понятно, что книг стихов Анненского на Крайнем Севере не могло быть, но Шаламов хорошо помнил их (например, «этих в, этих з, этих эм» – это цитата из стихо-

⁵ Первая публикация состоялась в «Литературной газете» 21 июня 2014 г.

творения «Невозможно» (1907), что подсказал мне редактор издательства Пушкинского Дома, блестящий знаток поэзии Анатолий Ефимович Барзах; он вообще очень много помог мне, особенно в цитатах и реминисценциях).

Л. Е. Давайте воспроизведем для журнала.

Иннокентий Анненский

НЕВОЗМОЖНО

Есть слова – их дыхание, что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, *невозможно*.

Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.

Но лишь в белом венце хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,
Этих *вэ*, этих *зэ*, этих *эм*
Различить я сумел дуновенья.

И, запомнив, невестой в саду
Как в апреле тебя разубрали, –
У забитой калитки я жду,
Позвонить к сторожам не пора ли.

Если слово за словом, что цвет,
Упадает, белея тревожно,
Не печальных меж павшими нет,
Но люблю я одно – *невозможно*.

В. Е. Это стихотворение, посвященное «командиру» (т.е. учителю, кумиру), – программное для Шаламова, и здесь тоже встает вопрос, почему он не включил его в «Колымские тетради» и нигде не публиковал? Правда, оно нашлось в машинописях 1970-х годов, что показывает намерение его напечатать, но в итоге это не удалось. Чем не драма?

Сам Шаламов признавался, что познакомился со стихами Анненского достаточно поздно, в середине 1930-х годов, между двумя своими сроками, и он, по своей дотошности, несомненно, прочел тогда все изданные сборники (и «Тихие песни», и «Кипарисовый ларец» и другие) – их можно было получить в читальном зале Ленинской библиотеки, постоянным читателем которой Шаламов был с 1920-х годов. Знал он и биографию Анненского – в том числе его наезды в роли инспектора Петербургского учебного округа в Вологодскую губернию. Очевидно, что влияние Анненского на него было огромным и касалось не только поэзии, но и способа существования в ней, ведь Анненский никогда не стремился к популярности, стихи печатал под псевдонимом «Ник. Т-о» – и тот же путь тайного поэтического бытия мы видим у Шаламова во многих его стихах, которые он называл своим «поэтическим дневником». Вопрос о стилевом влиянии Анненского на Шаламова пока почти не

изучен, но можно говорить о том, что Шаламов многому учился у своего «командира» в звуковой инструментровке стихов, в образной символике. Думаю, что тема «Анненский и Шаламов» заслуживает целого диссертационного исследования, и очень хотелось бы, чтобы такое исследование было осуществлено в Вологде, молодыми аспирантами или студентами филфака ВоГУ.

Л. Е. Читая Ваши комментарии, я тоже думала о целом ряде исследований: Шаламов и Пастернак, Шаламов и Цветаева, Ахматова, Тютчев, Баратынский, Блок, Пинский, Н.Я. Мандельштам, Вяч.Вс. Иванов, Слуцкий, Шекспир.

Очень интересны текстологические пояснения, например: «“Камея” имеет сто вариантов, как все мои колымские стихи...» (цит. по: [14, с. 498]). Понимаю, что в такой оценке есть момент гиперболизации, но, вместе с тем, она позволяет представить интенсивность поэтического труда Шаламова.

Было бы хорошо углубиться в шаламовское тяготение к более крупной форме, в его намерение создать именно книгу: «книгу стихов – не сборник и не собрание, а книгу...» (цит. по: [14, с. 483–484]).

Разумеется, отдельного изучения заслуживает тема «Шаламов и Библия». Понимаю, что вопрос об отношении писателя к вере сложный. И Вы не обошли его как составитель издания. Согласна с Вашим выбором оставить шаламовское написание Бога с маленькой буквы. Это была норма тех лет, да и Шаламов сделал свой выбор: иногда предпочитая большую букву, но чаще, как мне показалось, все же маленькую. Для меня, как англиста, привычно, что во времени Шекспира имя Господа в пьесах было запрещено упоминать всуе и его писали с маленькой буквы. К Богу обращались с помощью «очень личного» местоимения второго лица «thou» (не «you»). У Шаламова мне видится подобный случай, несмотря на различие языков и обстоятельств. При непосредственности обращения к Богу в стихах – *его Богу* – аналогия, мне кажется, есть: *...Мне есть кому смотреть в глаза / В моем простом дому. / Мне есть что детям рассказать / И богу моему.*

В. Е. Не можем мы, как «русские мальчики», без вопроса о Боге...

Шаламов всегда говорил, что его богом, религией была поэзия. И то, и другое – не от мира сего, Вышнее...

Л. Е. И от мира тоже.

В. Е. Да, тем более от того мира, с которым Шаламов столкнулся на Колыме.

Л. Е. Спасибо Вам за помощь в прочтении. Подрастают новые поколения читателей, которые сами не догадаются, что в стихотворении «Память» для «пропуска» в мир официальной советской поэзии потребовалось, чтобы «пила» в первых строках заменила «кайло», а «радость» – «горечь»: «Если ты владел умело / Топором или пилой, / Остается в мышцах тела / Память радости былой» [14, с. 32].

Спасибо за все, что Вы сделали и делаете для Шаламова и – шире – для сохранения культурной памяти. И спасибо Вам за этот рассказ о внешних и внутренних событиях жизни, истории, литературы.

Литература

1. Гофман, Е. Одиночный замер Варлама Шаламова / Ефим Гофман // Знамя. – 2013. – № 3. – URL: <https://shalamov.ru/critique/199/> (дата обращения: 4.11.2020). – Текст : электронный.
2. Данилкин, Л. Воскрешение Шаламова / Лев Данилкин // Афиша. – 2012. – 20 августа. – URL: <https://shalamov.ru/critique/191/> (дата обращения: 4.11.2020). – Текст : электронный.
3. Достоевский, Ф. М. Дневник писателя 1873 г. XI. Мечты и грезы / Ф. М. Достоевский // Полное собрание сочинений : в 30 томах. – Ленинград : Наука, 1980. – Т. 21.
4. Есипов, В. В. Два гения в одном эшелоне (В. Т. Шаламов и Ю. Г. Оксман) / В. В. Есипов // Знамя. – 2014. – № 6. – С. 183–197.
5. Есипов, В. В. Ее называли Беатриче... / В. В. Есипов // Шаламовский сборник : сборник статей / составитель и редактор: В. В. Есипов, С. М. Соловьев. – Москва : Литера, 2011. – Вып. 4. – С. 11–20. – URL: <https://shalamov.ru/critique/163/> (дата обращения: 4.11.2020). – Текст : электронный.
6. Есипов, В. В. Житие великого грешника: документально-лирическое повествование о судьбе русского пьяницы и замечательного историка-самоучки Ивана Гавриловича Прыжова / В. В. Есипов. – Москва : Русская панорама, 2011. – 496 с. (Страницы русской истории).
7. Оксман, Ю. Г. Переписка / Ю. Г. Оксман // Ю. Г. Оксман – К. И. Чуковский. Переписка. – Москва : Языки славянской культуры, 2001.
8. Прилепин, З. Мертвые в развес / Захар Прилепин // Свободная пресса. – 2013. – 23 февраля. – URL: <https://svpressa.ru/culture/article/64575/> (дата обращения: 4.11.2020). – Текст : электронный.
9. Смирнов, И. Школа свободы Варлама Шаламова / Илья Смирнов // Октябрь. – 2014. – № 5. – URL: <https://shalamov.ru/critique/244/> (дата обращения: 4.11.2020). – Текст : электронный.
10. Шаламов, В. Из первых колымских тетрадей : (неизвестные стихи) / В. Шаламов ; публикация, статья и примечания В. В. Есипова // Знамя. – 2014. – № 11. – С. 183–198.
11. Шаламов, В. Колымские рассказы: избранные произведения / В. Шаламов ; составление, статья и комментарии В. В. Есипова. – Санкт-Петербург : Вита Нова, 2013. – 578 с.
12. Шаламов, В. Т. Собрание сочинений : в 6 томах + 7 том дополнительный / В. Т. Шаламов – Москва : Терра : Книжный Клуб Книговек, 2013. – Т. 2.
13. Шаламов, В. Т. Собрание сочинений : в 6 томах + 7 том дополнительный / В. Т. Шаламов. – Москва : Терра : Книжный Клуб Книговек, 2013. – Т. 6. – 603 с.
14. Шаламов, В. Т. Стихотворения и поэмы : в 2 томах / В. Т. Шаламов ; вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания В. В. Есипова. – Санкт-Петербург: Издательство Пушкинского Дома, Вита Нова, 2020. – Т. 1. – 591 с. (Новая Библиотека поэта).

V.V. Esipov, L.V. Egorova

VALERIY ESIPOV: EXTERIOR AND INTERNAL BIOGRAPHY

L. Egorova and V. Esipov discuss his life and scholarly path. He is the author of numerous articles and books, including *Varlam Shalamov and His Contemporaries*, *Shalamov in the Lives of Remarkable People* series. Recently he edited two volumes of Varlam Shalamov's poetry. This academic edition is the most complete collection of his poetry to date.

V. Esipov, V. Shalamov, V. Shalamov's poetry.